

СЪВЕРНЫЙ
ВѢСТНИКЪ

1886.

МАРТЪ, № 3.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Товарищество «Печать С. Н. Яковлева». Волынка Морская, № 58.

1886.

СОДЕРЖАНІЕ.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

	стр.
I. — КОЙ-ПРО-ЧТО. Отрывки изъ памятной книжки. Г. Успенскаго.	1
II. — ЧСКРА. Кота Мурлыки.	38
III. — БАСНЯ ВОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКАГО. Г. Ц.	51
IV. — СУДЬБА ГУБЕРНСКИХЪ СТАТИСТИКОВЪ. С. Приклонскаго	73
V. — ИЗЪ ДѢТСТВА И ШКОЛЬНЫХЪ ЛѢТЪ. Часть вторая А. Л.	94
VI. — ИЗЪ СИРІЙСКИХЪ ЭСКИЗОВЪ. Стихотвор. Н. Абаза.	130
VII. — НА ТУМАННОМЪ СѢВЕРѢ. Романъ изъ Герман- ской жизни. Часть третья. Руслана.	131
VIII. — О МИСТИЦИЗМѢ ВЪ РУССКОМЪ НАРОДѢ И ОБЩЕСТВѢ. А. Пругавина	193
IX. — СТИХОТВОРЕНІЕ. И. Фофанова	216

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

I. — ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ КРИТИКИ. А. Санкетти.	1
II. — УПАДОКЪ КРЕСТЬЯНСКИХЪ ХОЗЯЙСТВЪ ПРИ ОБЩИННОМЪ ЗЕМЛЕВЛАДѢНІИ. П. С—наго.	20
III. — ДУРМАНОВЦЫ и БАЛАБАНОВЦЫ. Пономарева	61
IV. — МИРОВОЙ СУДЪ. Н. Селмязанова	77
V. — ОБЛАСТНОЙ ОТДѢЛЪ. Дерезенскій капитализмъ. Ф. Щербини.—Очерки полтавщины. В. Василенко.— Торговыя крестьянскія артели. Н. Добровольскаго.— Вопросъ о чиншеникахъ. Я. Абрамова.—Текущая зем- ская статистика. Е. В.—Изъ провинціальной печати.	107
VI. — НОВЫЯ КНИГИ. Похороны, историческій романъ.— Изъ жизни, повѣсти и рассказы. Д. Л. Мордовцева.— Скорбный путь. К. В. Назарьевой.—Угро-русскія на- родныя пѣсни.—Г. А. Де-Воллана.—? О женщи- нахъ.—Во льдахъ и снѣгахъ. Вильяма Гильдера.— Очерки кустарной промышленности въ Россіи. В. В.— Значеніе царствованіе Людовика XIV и его лично- сти. Я. Г. Гуревича.—Государственное право важ-	

ИЗЪ ДѢТСТВА И ШКОЛЬНЫХЪ ЛѢТЪ.¹

Часть вторая.

V.

Было около двухъ часовъ по-полудни, когда мы съ тетускою, пробывъ часа три въ дорогѣ и потрясшись съ четверть часа по грязнымъ улицамъ города Н., подъѣхали къ зданію Н—скаго института для благородныхъ дѣвицъ. Оно поразило меня своею обширностью и своеобразнымъ видомъ. Многочисленные ряды тусклыхъ, забѣленныхъ оконъ дѣлали его похожимъ на стоглазое чудовище, ослѣпшее отъ старости. Мнѣ невольно вспомнилась сказка о заколдованномъ дворцѣ, заснувшемъ на сотни лѣтъ. И здѣсь, въ этомъ каменномъ чудищѣ, словно дремавшемъ на припекѣ, жизнь какъ будто остановилась съ незапамятныхъ временъ. Ни одного живаго существа не видно — вонъ, только кошка крадется, подбираясь къ воробьямъ, перепрыгивающимъ тоже какъ-то сонно и лѣнливо съ вѣтки на вѣтку въ кустахъ бузины, которые тѣсятся по угламъ главнаго двора, превращеннаго въ садъ.

Но вдругъ миръ и тишина нарушаются: съ неистовымъ скрипомъ распахиваются обѣ половинки дверей параднаго подъѣзда, и на высокое крыльцо выступаетъ съ булавою въ рукахъ жирный швейцаръ, наряженный въ когда-то пышную красную ливрею. Изъ-за него высыпаютъ безпорядочной, шумливой, веселой толпой цѣлыя сотни дѣвушекъ. Вотъ зеленныя, коричневыя

¹ См. № 1 „Сѣвернаго Вѣстника“.

и сѣрыя платья мелькаютъ уже и между кустами, и на лужкахъ, и по дорожкамъ; всюду на подобіе крыльевъ развѣваются бѣлыя пелеринки и передники... ну точь въ точь рой весеннихъ мошекъ! И все это пицить, стрекочеть, свѣтается и все дальше нестройной волной заливаешь аллеи и цвѣтники. Кошка давно испуганно юркнула въ подвальное окно; воробьи, и тѣ струсли и спаслись на высокія кровли къ каменнымъ пеликанамъ и неистово чирикаютъ, стараясь оттуда перекричать эту шумливую молодую толпу, сквозь которую намъ пришлось пробираться, чтобы дойти до квартиры начальницы.

Я никогда раньше не видала такого огромнаго числа дѣвушекъ. Оно хотя удивило, но нисколько не испугало меня, несмотря на то, что за житье у Медвѣдовыхъ я не научилась любить дѣтскаго общества. Медвѣдовскія дѣти никогда простоудушно по дѣтски не смѣялись. „А какъ здѣшнимъ дѣвочкамъ весело,“ думалось мнѣ: „вѣрно и мнѣ съ ними будетъ хорошо“.

Начальница, ея превосходительство, Софья Ивановна Воинова, приняла тетку мою, богатую помѣщицу и Петербургскую генеральшу, свѣтски любезно, хотя величаво, а ко мнѣ отнеслась снисходительно ласково и даже потрепала меня по щекѣ, убѣдившись взглядомъ, что я чистенькая и прилично одѣтая дѣвочка. Потомъ я узнала, что это великая милость; случалось, что иныхъ бѣдныхъ, нехорошо одѣтыхъ дѣтей сиротъ Софья Ивановна по пріѣздѣ ихъ приказывала вымыть въ ваннѣ раньше, нежели допускала въ свою квартиру.

Софья Ивановна была высокаго роста и отличалась величественной осанкой. Лицо ея, несмотря на годы, было свѣжо; блестящія, каріе глаза и черныя брови представляли рѣзкую контрастность ея бѣлымъ какъ снѣгъ волосамъ и придавали ей необыкновенно привлекательную молодость.

Она старалась казаться строгой; но, попристальнѣе взглянувъ на нее, нельзя было не замѣтить, что, напуская на себя по временамъ даже суровость, она не умѣла уничтожить двухъ-трехъ небольшихъ морщинокъ около рта, непремѣнно вызывавшихъ мысль: „да не притворяйся-же ты,—ну, какая ты громовержница? Вѣдь ты, въ сущности, добрая до слабости, право!“

Тетка моя просидѣла у начальницы съ четверть часа. Обо мнѣ почти и рѣчи не было, кромѣ упоминанія о томъ, что зовутъ меня Прасковьей Медвѣдовой и что я привезена, чтобы теперь-же остаться въ заведеніи.

Говорилось о „кнѣзѣ Пьерѣ,“ и „графини Мэри,“ объ „Александринѣ“ такой-то... и все въ томъ-же родѣ. Начальница была прежде исконною петербургскою жительницею; въ директрисѣ провинціального института ее загнала нужда, когда она овдовѣла. Она теперь считала себя „exiléе“ и сѣтовала, впрочемъ слегка и какъ-бы шутя, на жестокость судьбы. Она никогда не готовилась ни въ администраторы, ни въ педагоги; подъ ея вѣдѣніемъ, какъ я узнала впоследствии, всякій въ заведеніи дѣлалъ, что и какъ ему угодно — до всевозможныхъ мерзостей включительно. Что касается до самой Софьи Ивановны, то, лично, она никакихъ мерзостей не дѣлала; не только потому, что не хотѣла, но и потому, что не сѣумѣла-бы, — хотя вздору творила много, да иногда такого, отъ котораго послѣдствія бывали хуже чѣмъ отъ иныхъ мерзостей.

„Мамап“ сама по себѣ была не только доброй души женщина, но даже и не глупа; но случалось всегда такъ, что всѣ ея начинанія и приказы либо не исполнялись, либо перевирались и перепутывались, а если и исполнялись, то неминуемо приводили къ большому или меньшему сумбуру.

Что касается воспитательной ея дѣятельности, то она сводилась къ поученіямъ на слѣдующую тему: хорошо воспитаннымъ дѣвушкамъ нужно: прежде всего имѣть хорошія манеры и говорить безъ акцента по французски; это условія, *sine qua non*, ихъ будущаго счастья; это талисманъ, который достаточнымъ образомъ обезпечитъ не только успѣхъ въ обществѣ, но и добудетъ богатаго и коммѣфотного жениха,, а бѣднымъ дастъ возможность попасть на хорошо оплачиваемыя казенныя и частныя мѣста учительницъ и воспитательницъ. Затѣмъ, для дѣвицы нужна хорошая нравственность; что подразумѣвалось подъ этою хорошею нравственностью довольно трудно опредѣлить сразу. Первымъ артикуломъ было: не грубить начальству и слушаться всякаго приказанія безпрекословно; потомъ: не завивать волосъ, не носить на шеѣ ленточекъ и бархатокъ; въ закрашенныхъ окнахъ не выцарапывать ясныхъ мѣстечекъ, чтобы выглядывать на улицу; не читать книгъ, приносимыхъ посторонними заведенію лицами; въ нѣмецкое дежурство говорить по нѣмецки, а во французское по французски и, по возможности, не произносить ни одного русскаго слова, иначе какъ во время русскихъ уроковъ или необходимыхъ сношеній съ прислугою; знать свои уроки добросовѣстно, однако не слишкомъ блестящимъ образомъ, потому что...

ну, потому что „знать что-либо очень хорошо“ — для молодой, благовоспитанной дѣвушки какъ будто даже и не прилично... Молодая, хорошо воспитанная дѣвица должна: „не знать“, колебаться, сомнѣваться въ непреложности своихъ знаній, въ справедливости своихъ мыслей и взглядовъ... и за разъясненіемъ сомнѣній обращаться къ старшимъ. Ну, а дальше что? Да, право, ужь и не знаю. Отвлеченныхъ вопросовъ нравственности, какъ, напримѣръ, о справедливости и вообще исканіи правды всегда и во всемъ „тамап“ не касалась, какъ не касалась съ другой стороны и такихъ низкихъ вещей, какъ ложь и обманъ; о такихъ вещахъ, какъ воровство, напримѣръ, она считала невозможнымъ даже и заикнуться въ заведеніи для благородныхъ дѣвицъ, изъ которыхъ каждая сама должна была знать и помнить, что „noblesse oblige“. Съ другой стороны, можетъ быть и небезопасно было-бы вообще поднимать у насъ вопросы о лжи, обманѣ, любостыжаніи и воровствѣ... Можно было-бы дойти до такихъ неразрѣшимыхъ дилеммъ, изъ которыхъ уже никакъ не удалось-бы вынутаться. Ну, что, если-бы какая нибудь изъ воспитанницъ, услышавъ поученіе о томъ, что присвоивать себѣ чужое грѣшно и стыдно, попросила-бы „тамап“ объяснить ей причины упорно носящагося въ заведеніи слуха о замѣчательно быстро поправившихся имущественныхъ обстоятельствахъ ея предшественницы. А вѣдь все-мъ извѣстно было, что предшественница эта, графиня какая-то, пріѣхала въ такомъ положеніи въ заведеніе, что шестилѣтняя дочка ея однажды всенародно высказала аксіому: „Tout le monde a des trous à ses chemises!“ И не отъ того-ли въ одеждѣ и вообще обстоятельствахъ графини такъ скоро исчезло все дырявое и прорѣшистое, что воспитанницы черезъ какіе-нибудь годъ-два начали дѣйствительно убѣждаться, что „tout le monde a des trous à ses chemises“ И не было-ли все это въ связи съ тѣмъ, что старое пианино, болѣе полу-вѣку находившееся на покой въ одной изъ комнатъ начальственной квартиры, начало аккуратно черезъ каждые три мѣсяца относиться въ починку, причемъ его съ трудомъ выносило шесть человѣкъ, тогда какъ легко вносили обратно всего трое.

Конечно, ни одна воспитанница никогда не осмѣлилась бы предложить „тамап“ подобныхъ вопросовъ, но Софья Ивановна, какъ женщина съ тактомъ, умѣла и поводу къ этому не подать. Сама же она была въ смыслѣ такихъ дѣлъ вполне чиста: какъ поступила она въ заведеніе, такъ и вышла изъ него, не приоб-

рѣти ни одной копѣйки неправдою: — она искренно вѣрила въ то, что „noblesse oblige!“

Все, что я сказала теперь, я конечно узнала гораздо позже, частью даже послѣ выхода изъ института. Въ день первой встрѣчи моей съ Софьей Ивановной я видѣла въ ней только красивую, высокую пожилую даму, которая будетъ моею начальницею. У меня въ то время могъ зародиться и зародился всего одинъ вопросъ: „добрая-ли она или злая?“ На что я получила очень скорый и удовлетворительный отвѣтъ.

Покончивъ бесѣду съ начальницею, тетка моя встала и собралась уходить, но Софья Ивановна попросила ее снова сѣсть и пообождать минуту, потомъ позвонила и приказала явившейся дежурной горничной попросить сюда „Марью Александровну“.

— Я хочу при васъ передать вашу дѣвочку ея будущей классной дамѣ, сказала она теткѣ: — можетъ быть и вы найдете нужнымъ что-нибудь поручить ей.

— Comme il vous plaigа, chère madame, отвѣчала тетушка: — но я уже сдала вамъ Полину... признаюсь, точно гора съ плечъ: чужія дѣти и обуза, и безпокойство.

Начальница съ нѣкоторымъ удивленіемъ взглянула на говорившую; ее видимо поразила сухость отношенія тетки ко мнѣ: ни намекъ на какую-либо привязанность, хоть-бы изъ приличія. Что касается до меня, то я такъ, что называется „оббилась“ въ домѣ Медвѣдовыхъ, такъ привыкла къ отсутствію любви и ласки, что слова и тонъ тетки не только не вызвали во мнѣ никакой острой боли, но даже не привлекли и особеннаго вниманія.

Въ это время явилась Марья Александровна Адамсъ — фамилію ея узнала я только послѣ. Она тоже была высокаго роста и вѣстѣ съ этимъ очень полна. По обѣимъ сторонамъ узкаго лба ея торчали взбитые изъ желтовато-русыхъ волосъ пышные „кѣки“. Маленькіе свѣтло-голубые глаза почти исчезали въ складкахъ жиру, когда она улыбалась.

Маман откомендовала ее моей тетушкѣ, какъ мою будущую воспитательницу. М-lle Адамсъ любезно осклабилась и присѣла чуть не по институтски. Когда меня представили ей, она, какъ бы потихоньку отъ меня, произнесла въ полголоса:

— Quelle charmante enfant au regard spirituel!

— Vous pouvez l'emmener, ma chère, сказала ей маман.

Я стала прощаться съ теткой — и мнѣ вдругъ жаль сдѣла-

лось, что я расстаюсь съ ней. Говорятъ же, что бывали узники, которые, выходя изъ тюрьмы, грустныиъ взглядомъ прощались со стѣнами ихъ.

Генеральша, цѣлуя меня въ лобъ, проговорила:

— Adieu Pauline, будь умна и послушна, и помни, что ты бѣдная дѣвочка, должна старательно учиться, потому что тебя ждетъ въ жизни трудовая доля.

М-ле Адамсъ, улыбаясь мнѣ до сихъ поръ, вдругъ приняла серьезный видъ; даже я, ребенокъ, замѣтила быструю перемѣну въ ней: любезное отношеніе ея ко мнѣ, вызванное моимъ изящнымъ костюмомъ и „чиномъ“ привезшей меня родственницы, сразу пропало, какъ только она поняла, что я сама по себѣ представляю „ничто“.

Генеральша Медвѣдева, простившись со мной, направилась къ выходной двери; провожавшая ее начальница, кивкомъ головы отпустила М-ле Адамсъ и меня. Я пошла за классной дамой, не поклонившись начальницѣ.

— Вы забыли проститься съ маман, довольно сухо замѣтила мнѣ Адамсъ:—поцѣлуйте ей ручку и скажите: „je vous remercie pour vos bontés, chère maman“.

Я сконфузилась: мнѣ было стыдно за свою невѣжливость; я неловко присѣла и пробормотала:

— Merci, madame!

— Maman! настоятельно поправила меня Адамсъ.

Я недоумѣвала: въ простотѣ сердечной слыша, какъ она называетъ начальницу маман, у меня промелькнула мысль, что она ея дочь. „Почему она хочетъ, чтобы и я такъ называла начальницу? подумала я про себя и отвѣтила вслухъ:

— Моя мама умерла! и вдругъ изъ глазъ моихъ потекли слезы, вызванныя и мыслью объ умершей матери, и бессознательною болью отъ недостатка теплоты въ прощаньи тетки, и смутнымъ страхомъ будущаго, и возникающей антипатіей къ Адамсъ.

— Pauvre enfant! замѣтила начальница:—ne la tourmentez pas, Марья Александровна; ей и страшно, и грустно въ началѣ на новомъ мѣстѣ—это такъ понятно!

— Eh, pardon, c'est une petite sournoise! отвѣчала моя тетка: Вы не вѣрьте ей очень, она упряма и скрытна: elle m'a donné bien du fil à retordre... и хуже всего то, что она тихоня!

Я продолжала плакать.

— Не плачь, дѣвочка, сказала начальница, не отвѣчая генеральшѣ Медвѣдовой. — Подойди сюда, *donne moi un bon gros baiser et promets moi d'être bien sage.*

— О, oui, madame! безъ страха и съ довѣріемъ крѣпко цѣлуя незнакомую добрую женщину, отвѣчала я.

— Вотъ такъ лучше, разсмѣялась та, глядя меня по головѣ: — ну, а теперь иди съ Марьей Александровной въ классъ и познакомься съ подругами.

Ахъ, Софья Ивановна, если у васъ и не хватало знаній или ума для исполненія ввѣренныхъ вамъ обязанностей, если педагогъ вы были никуда негодный и администраторъ плохой, если, наконецъ, были въ вашей жизни ошибки и грѣхи, то пусть все это простится вамъ за вашу доброту, за ласковый материнскій поцѣлуй, которымъ вы въ то утро согрѣли наболѣвшую дѣтскую душу.

VI.

Первый день моего пребыванія въ заведеніи прошелъ, какъ въ туманѣ. Помню, что Адамсъ, тотчасъ по выходѣ отъ шатап, передала меня какой-то приниженой, молчаливой особѣ и что потомъ меня все водили по разнымъ мѣстамъ, и съ лѣстницы на лѣстницу. Въ одномъ мѣстѣ меня переодѣли, въ другомъ переобули, въ третьемъ дали большой шерстяной платокъ и велѣли носить его всегда при себѣ, перевѣсивъ сложеннымъ въ четверо черезъ лѣвую руку. Потомъ меня привели къ другимъ дѣвочкамъ, и мы пошли обѣдать, а затѣмъ насъ отвели въ классъ, откуда меня съ кѣмъ-то отправили въ „дортуаръ“, гдѣ указали мнѣ мою кровать и рядомъ съ нею шкафчикъ для храненія вещей; книги я должна была держать въ классѣ въ отведенномъ мнѣ юнитрѣ. Помню также, что всѣ новыя подруги мои казались мнѣ на одно лицо и что всѣ онѣ дѣлали видъ, будто не замѣчаютъ меня; но какъ только я отвертывалась, онѣ тотчасъ съ любопытствомъ разглядывали и конфузились, когда я нечаянно ловила ихъ на этомъ. Недоброжелательства ко мнѣ въ этомъ, впрочемъ, никакого не было, но ни онѣ, ни я не рѣшились сразу сдѣлать перваго шагу къ сближенію.

Въ семь часовъ вечера насъ опять попарно свели въ столовую, напоили чаемъ съ бѣлыми булками и чернымъ хлѣбомъ и отвели въ спальню. Тутъ мы стали въ ряды на молитву: одна изъ дѣвочекъ вышла изъ рядовъ и прочла вслухъ молитву Гос-

подню и Символь Вѣры. Когда она кончила, М-ше Адамсъ велѣла намъ безъ болтовни ложиться спать и прибавила, что черезъ полчаса зайдетъ взглянуть, въ постеляхъ-ли мы.

Спальня представляла длинную комнату, въ которой въ два ряда выстроилось около сорока кроватей; каждая изъ нихъ была покрыта бѣлымъ чехломъ; въ ногахъ стояла табуретка, а у изголовья высокій столикъ въ видѣ шкапчика.

Какъ только Адамсъ вышла, началась невообразимая суматоха: всѣ торопились раздѣться, постлать постели и улечься. Я безпомощно остановилась около своей кровати: я не знала, какъ взяться за дѣло. Какъ ни тяжело мнѣ по временамъ жилось нравственно, но физическаго труда я не знала: „дѣлать“ что нибудь своими руками мнѣ не приходилось, — снять чехолъ съ длинной кровати мнѣ показалось нивѣсть какою мудростью; о томъ, что еще нужно будетъ постлать постель, я и думать не смѣла.

Около кровати, стоявшей рядомъ съ моею, очень бойко возилась юркая дѣвочка еще меньше меня, ростомъ, а и я тогда была очень не велика. По временамъ она удивленно взглядывала на меня.

— Новенькая, отчего вы не ложитесь спать? Вѣдь Адамсъ васъ накажетъ, если вы не будете въ постели, когда она придетъ.

— Я не знаю какъ! отвѣчала я.

— Ахъ, новенькая, какая вы смѣшная! Вы не знаете, какъ спать ложиться... а вотъ какъ!

Она быстро показала мнѣ, какъ снять и сложить чехолъ, какъ откинуть одѣяло, какъ сбить и поправить подушку.

— А какъ васъ зовутъ? спросила она, когда я раздѣвшись юркнула подъ одѣяло.

— Пана, Паниочка Медвѣдева, отвѣчала я.

— Пана, Паниочка... это хорошее имя—оно мнѣ нравится. И Медвѣдева—ничего... Васъ въ классѣ будутъ Медвѣдкой звать! вдругъ рѣшила она: У насъ тутъ всѣхъ какъ нибудь по своему зовутъ... Медвѣдка, Медвѣдица, Медвѣдушка... Это все ничего, хорошо! Только я васъ буду звать не такъ, а птицей: у васъ точь въ точь такіе глаза, какъ у моей птички, которая умерла. Она сначала была ничего, а потомъ, когда ей наскучило въ клѣткѣ, у нея стали такіе глаза—вотъ какъ у васъ... а потомъ она умерла... я тогда не знала, что отъ этого

можно умереть... Вы тоже должно быть въ какой нибудь скучной клеткѣ были! задумчиво заключила она.

— Ахъ, что это! вдругъ быстро заговорила она опять: вѣдь вы, новенькая, свои вещи разбросали... Скорѣй, скорѣй сложите ихъ на табуретку, а то Адамка задастъ вамъ: она злая и страшная—ее вонъ все онѣ боятся. Она указала на остальныхъ воспитанницъ.

— А вы боятесь ее? спросила я, въ то-же время складывая вещи, какъ она сказала мнѣ.

— Я? Я никого не боюсь... никого въ цѣломъ свѣтѣ!

Покончивъ съ вещами я снова легла и съ удивленіемъ стала разсматривать это маленькое худенькое существо, гордо заявлявшее, что оно никого... никого не боится въ цѣломъ свѣтѣ.

Кровати наши помѣщались у стѣны, въ углубленіи, близъ большой кафельной печи; моя стояла совсѣмъ въ тѣни, на кровати моей сосѣдки падали скудные лучи привѣшеннаго къ печкѣ ночника и освѣщали блѣдное живое личико, каріе, блестящіе глаза и коротко остриженную курчавую головку.

— Да, я никого не боюсь, повторила она: и мнѣ никого не жалко: рѣшительно никого, прибавила она про себя. Я никогда и не боялась никого. Ну, что мнѣ могутъ сдѣлать? Бранить? Пожалуй: говори себѣ стѣны! мнѣ какое дѣло! Наказать? Пусть, если имъ нравится! Вы думаете, новенькая, если меня накажутъ, я плакать стану?—И не подумаю! Я даже и тогда не заплакала, когда папочка меня сюда привезъ... Знаете: я уже цѣлыхъ двѣ недѣли, цѣ-ѣлыхъ двѣ недѣли здѣсь! Т-съ, Адамка идетъ—спите.

Все сразу стихло. Адамъ появилась у входной двери, помѣщавшейся на концѣ спальни противоположномъ тому, гдѣ стояла моя кровать. Медленно шла классная дама, осматривая каждую табуретку, нагибаясь иногда надъ которой нибудь изъ дѣвочекъ, заглядывая зачѣмъ-то подъ нѣкоторыя кровати. Все лежали зажмурившись и затанъ дыханіе, одна я во все глаза смотрѣла на Адамъ и дивилась: что это она дѣлаетъ?

— Глаза закройте! шепнула мнѣ сосѣдка. Я машинально зажмурилась, не зная, зачѣмъ это нужно; тутъ усталость взяла свое: когда Адамъ подошла къ моей кровати, я этого не видѣла, потому что мирно спала.

Незнакомое-ли мѣсто, новая-ли постель, духота-ли, только я довольно скоро проснулась; я еще не вполне успѣла придти

въ себя, какъ до моего слуха донесся глубокий вздохъ, судорожный какой-то; я раскрыла глаза и увидѣла, что моя маленькая сосѣдка сидитъ на своей постели; свѣтъ отъ ночника и теперь освѣщалъ ее: лицо ея было все мокро отъ слезъ и совсѣмъ блѣдное; она крѣпко сжимала руки, лежавшія поверхъ одѣяла; по временамъ она вздрагивала, точно силилась подавить плачь.

Я приподнялась на постели и шопотомъ спросила:

— Что съ вами?

— Какое вамъ дѣло! рѣзко отвѣтила она тоже полу-шопотомъ.

— Вы вѣрно больны!

— Нѣтъ, нѣтъ!.. Ахъ, папочка! Ахъ папочка!

Она бросилась на подушку и уткнула лицо въ нее.

Я встала съ постели, подошла къ дѣвочкѣ и обняла ее.

— Не плачьте, пожалуйста, не плачьте! заговорила я сама сквозь слезы. Какую нибудь другую печаль я, можетъ быть, и не поняла-бы, но это горе было мнѣ понятно—развѣ я не такъ-же плакала по той, которая не вернулась ко мнѣ никогда, какъ я ни звала ее.

Дѣвочка не оттолкнула меня, несмотря на давешній свой рѣзкій отвѣтъ. Напротивъ, она крѣпко прижалась ко мнѣ и плакала, пока наплакалась вволю. Потомъ, когда худенькія плечики перестали вздрагивать, она стерла глаза и, обнявъ и подблывая меня, сказала:

— Ты теперь будешь мой другъ, хочешь?

— Хочу! отвѣчала я.

— Ну, вотъ и хорошо. Только никому не говори, что я плакала—слышишь! Не скажешь?"

— Нѣтъ, не скажу.

— Ну, вотъ и это хорошо. Я тебѣ сказала, что мнѣ никого не жалко... я солгала: мнѣ жалко, очень жалко папочку... Какъ могъ онъ отдать меня сюда? Да это не онъ, онъ тоже безъ меня скучаетъ. Знаешь, онъ полковой командиръ — наша фамилія Подбѣльскіе — у него много солдатъ, и всѣ они меня любили и звали: кантонистикъ... И я верхомъ ѣздила на настоящей маленькой лошаdkѣ... Потомъ пріѣхала тетя Соня... она ухъ какая! Съ хвостомъ во-отъ какинъ! И на немъ, и подъ нимъ все кружева, и оборки, и ужъ я не знаю что. Она увидѣла, что я много шалю... нельзя-же всегда уминой быть? и

вдругъ говорить папѣ: „Шурочка совсѣмъ какъ мальчишка; видно, что у бѣднаго ребенка нѣтъ матери“. А у меня вправду нѣтъ мамы... есть няня, хорошая... а вотъ тетя Соня ее и не любитъ... Няня старенькая, и сказки хорошо рассказываетъ — я много знаю... А тетя Соня стала все говорить, что я ничего не знаю, и что меня надо учить, и что если у папочки останусь, то буду несчастная, и все такія глупости... Ну, а папа ей и повѣрилъ, и меня сюда взялъ и отдалъ... Охъ тяжело, скучно безъ папочки и безъ няни!.. опять вздрагиваютъ плечки. — Я такъ разсердилась, что не знала даже, когда меня взаправду повезли — а сначала я не вѣрила... Да если бы я стала плакать, то и папа сталъ бы плакать, а этого нельзя: онъ военный! Правда военнымъ нельзя плакать? Вотъ, когда онъ приходитъ — почти каждый день — я и бываю при немъ веселая, и онъ радъ, и онъ веселъ; только я знаю, что ему безъ меня скучно.. Вотъ тетя Соня, та въ самомъ дѣлѣ рада, что я здѣсь — ей что!

Долго рассказывала Шурочка объ отцѣ, и о нянѣ, и о солдатахъ, и о маленькой лошаdkѣ, и о тетѣ съ „хвостомъ“, пока не заснула. Тогда я перебралась на свою постель и тоже заснула.

Подъ утро я проснулась отъ того, что раздались тяжелые мужскіе шаги: вдоль двойнаго ряда кроватей шелъ простой солдатъ съ ведрами въ обѣихъ рукахъ. Я удивилась этому явленію, притаилась и стала смотрѣть, что будетъ дальше. Онъ подошелъ къ умывальнику въ углу спальни и сталъ лить въ него воду изъ ведеръ. Было полу-темно; всѣ спали; громко хранила еще и спальная „нянька“ — служанка, постель которой помещалась за ширмами у выходной двери. Наливъ воды, солдатъ вышелъ. Мало-по-малу разсвѣло. Вдругъ въ коридорѣ раздался неистовый звонъ. Я чуть не вскрикнула — такъ испугалъ онъ меня. Въ одну минуту спальня ожила. Проснулась и Шурочка; взглянувъ на нее я удивилась: вчерашнихъ слезъ слѣда нѣтъ; живая, быстрая — она раньше всѣхъ одѣлась, помогла умыться и одѣться и мнѣ. Верхняя одежда наша состояла изъ камлотового платья съ открытымъ воротомъ и короткими рукавами, бѣлаго холщеваго передника съ таліей, бѣлой пелеринки и длинныхъ бѣлыхъ рукавовъ, пришитыхъ булавками къ камлотовымъ. Покончивъ съ одѣваньемъ, Шурочка громко заявила:

— Mesdames! Пана Медвѣдова будетъ мой другъ, — вы можете звать ее, какъ угодно: медвѣдкой и медвѣдицей — мнѣ все

равно, а я буду звать ее Паней, или Паничкой, или птицей, — а вы никто не смѣте, слышите!

— Ну, хорошо, сверчокъ. стрекоза, егоза! посмыпалось ото- всюду со смѣхомъ. — Хорошо, ладно, слушаемъ!

У умывальника шла чуть не драка: на сорокъ человѣкъ было всего двѣнадцать крановъ; потому не хватило воды, она еле со- чилась. „Аннушка! Сильвестръ! Воды! Ахъ Розенблюмъ сей- часъ придетъ, а мы не будемъ готовы! Воды, воды нужно!“ раздавалось со всѣхъ сторонъ. Служанка Аннушка побѣжала за солдатомъ Сильвестромъ. Скоро явился опять и онъ со своими ведрами.

— Ай, ой! пищали, прячась за кровати, дѣвочки, мывшія шен, спустивъ рубашечки по поясъ.

— Эхъ, барышни, есть чего визготокъ такой поднимать! — стану я на васъ смотрѣть: я чай человѣкъ женатый, эхъ ма! — добродушно успокоивалъ дѣтей Сильвестръ и наливалъ воду, дѣйствительно не глядя ни на кого.

Наконецъ всѣ готовы.

— Теперь придетъ змѣя, — сказала мнѣ Шурочка. — Это ma- demoiselle Розенблюмъ, она на нѣмецкомъ дежурствѣ. и еще хуже Адамки — злѣе; только ей не такъ бояться, потому что она со- всѣмъ дура и по русски не знаетъ... и она у насъ не долго будетъ: ее въ больничныя дамы переведутъ. Знаешь, тутъ была одна дѣвочка, и она ее ударила... да, ударила! Дѣвочка такъ испугалась — ей дома никогда не били, — она заболѣла и ее взяли родные; тогда и рѣшили, что змѣю переведутъ въ больницу, а къ намъ придетъ одна Катерина Федоровна. Какая она бу- детъ, ужъ не знаю? только вѣрно лучше змѣи и Адамки, по- тому что она совсѣмъ русская... И она будетъ на французскомъ дежурствѣ, а Адамка перейдетъ на нѣмецкое. — Ну, теперь сей- часъ и къ завтраку звонокъ будетъ — потому что вонъ змѣя, у змѣи! А, съ зелеными лентами чепчикъ — значитъ она сегодня добрая; ну, когда съ красными, тогда бѣда, какая злая!

Въ спальню вошла плотная невысокаго роста особа лѣтъ пяти- десяти. Она ступала тяжело и рѣдко, перекачиваясь всѣмъ кор- пусомъ изъ стороны въ сторону. Голова ея была маленькая, лицо съ тонкими, острыми и неподвижными чертами, — шея же — длинная, гибкая и вѣчно въ движеніи. У насъ увѣрили, что mademoiselle Розенблюмъ можетъ повернуть ее какъ-то въ „два извива;“ за эту необыкновенно гибкую шею, столько же сколько

за душевные качества, ее прозвали зифей. Одѣта она была въ форменное синее платье; на головѣ ея былъ тюлевый чепецъ съ зелеными лентами.

При входѣ ея мы выстроились въ шеренгу; Розенблюмъ пошла вдоль нея, осматривая каждую изъ насъ съ ногъ до головы; мы должны были стоять вытянувшись, снявъ пелеринку и держа въ рукахъ носовой платокъ такъ, чтобы пальцы были наверху—для того, чтобы классная дама могла убѣдиться въ чистотѣ нашихъ ногтей. Когда она останавливалась передъ воспитанницей—та сначала скалила зубы, чтобы видно было, чищены они или нѣтъ, а потомъ медленно поворачивалась, какъ кукла на оси, чтобы показать, что вездѣ все припущено, завязано и зашнуровано, какъ слѣдуетъ, и что голова въ порядкѣ и шея чиста. Потомъ свидѣтельствовалось, аккуратно-ли надѣты чулки и башмаки, панталоны и юбки.

Осмотръ этотъ длился до самаго молитвеннаго звонка, послѣ котораго одна изъ дѣвочекъ вышла изъ рядовъ и прочла: Символъ Вѣры и молитву Господню. Послѣ молитвы мы прошли въ столовую и напились молока съ теплой водой, каждой изъ насъ такъ же, какъ и вчера, дали по бѣлой булкѣ и куску чернаго хлѣба. Затѣмъ Розенблюмъ отвела насъ въ классъ и задала уроки: кому стихи выучить, кому легкій переводъ, кого заставила читать или работать. У тѣхъ, кому она задавала русскіе уроки, она спрашивала ихъ, напряженно слѣдя за отвѣтомъ по книгѣ. Иныя дѣвочки отвѣчали добросовѣстно,—другія, соображивъ, что она не знаетъ по русски, несли ей невозможную чепуху, — и ничего: — она ставила даже хорошія отвѣтки тѣмъ, кто тараторилъ, чтобы тамъ ни было, только не перевода духа. Она дѣйствительно почти ни одного слова не понимала по русски. У насъ говорили, что, проживъ двадцать лѣтъ въ Россіи и будучи воспитательницею русскихъ дѣтей, она знаетъ всего два русскихъ слова: „извозчикъ“ и „разнощикъ“, причемъ разнощика называетъ извозчикомъ и наоборотъ извозчика разнощикомъ. Какъ бы то ни было, но нашихъ отвѣтовъ она не понимала и часто произносила: *gut* и *schön*! когда кто-нибудь, отвѣчая ей, наприѣмъ, урокъ исторіи, всеуслышаніе распространялся о ея же собственныхъ качествахъ и о ненависти нашей къ ней. — Меня все это сначала безконечно поражало, потомъ я привыкла къ этому и даже завидовала остроумію и находчивости тѣхъ, которыя такимъ образомъ издѣвались надъ зифей. Занятія про-

должались до завтрака въ двѣнадцать часовъ. Потомъ насъ повели гулять въ садъ, и тамъ мы были до пяти часовъ; въ пять обѣдали, опять гуляли въ саду часъ, потомъ часъ сидѣли въ классѣ за легкими уроками, послѣ чего напились чаю и пошли спать.

VII.

И потянулась жизнь для меня день за днемъ однообразно, но не скучно, благодаря другу моему Шурочкѣ, къ которой я крѣпко привязалась. Она же не отпускала меня ни на минуту отъ себя и взяла меня, такъ сказать, подъ свое покровительство, хотя года на полтора была моложе меня; она постоянно возилась со мною, учила меня новымъ порядкамъ и всему житию-бытью заведенія. Я съ своей стороны не отставала отъ нея — безъ нея я-бы чувствовала себя очень одинокой, хотя здѣсь мнѣ нравилось больше чѣмъ у тетки: здѣсь я была всѣмъ равная, никто не смотрѣлъ на меня свысока, никто не отталкивалъ отъ себя.

Шурочка всѣмъ дѣлилась со мной: вещами, книгами, гостинцами. Мало по малу другія дѣвочки тоже познакомились со мной, начали разспрашивать меня о моей семьѣ и рассказывать про себя и своихъ родныхъ; недѣли черезъ двѣ я уже не считалась новенькою, а была равноправнымъ членомъ нашего мірка; и мнѣ самой казалось, что я нивѣсть сколько времени здѣсь, тѣмъ болѣе, что ни одинъ звукъ изъ внѣшняго міра не достигалъ до меня, такъ какъ ни дядя, ни тетка не только не пріѣзжали, но даже и не писали мнѣ.

Такъ прошло лѣто. До конца каникулъ оставалось не болѣе двухъ недѣль, когда Шурочка въ одно изъ нашихъ дообѣденныхъ пребываній въ саду тайно ушла меня въ сторону отъ другихъ, говоря, что ей нужно сказать мнѣ что-то важное. Когда мы были на столько далеко отъ всѣхъ, что рѣшительно никто не могъ-бы подслушать насъ, Шурочка заговорила:

— Знаешь, Пани, намъ нужно выбрать обожательницу.

— Обожательницу? Зачѣмъ?

— Какъ зачѣмъ? У всѣхъ есть кто-нибудь, кого онѣ обожаютъ... ну и намъ нужно.

— Вѣдь это все глупости, замѣтила я.

— Ахъ, Пани, развѣ-же и я не знаю, что это глупости! да какъ-же у всѣхъ есть, а у насъ нѣтъ....

— Что это, Шурочка, развѣ все то нужно дѣлать, что другіе дѣлаютъ?... вонъ всѣ боятся Адамки, а ты вѣдь не боишься...

— Это другое дѣло, Пана. Еслибы „обожать“ было что-нибудь нехорошее или скучное, то я не стала-бы обезьянничать съ другихъ,—ну, а обожать: это весело... Видишь: съ обожательницей можно гулять и разговаривать въ саду или въ корридорѣ,—и если она умная и хорошая, то отъ нея и услышишь что-нибудь умное и хорошее—она изъ старшихъ, она ужъ больше насъ знаетъ... Вотъ это скучно, что ей нужно кричать „чудная!“ или „царька!“ и цѣловать ее, непременно, въ плечико.... ну, да не бѣда, если мы этого и дѣлать не станемъ. Потомъ, въ ея именины нужно ей послать *rapeterie*, шелковый платочекъ и фунтъ тягущекъ или какихъ хочешь конфектъ,—а въ твои именины она тебѣ пришлетъ — это опять весело!... Такъ хочешь: мы выберемъ себѣ обожательницу изъ старшихъ и будемъ ее обожать.

— Обожательница эта та, которая обожаетъ, а не та которую....

— Ахъ, ну не все-ли равно такъ ее зовутъ или иначе! Говори: хочешь? Да? Если ты не захочешь, то я одна тоже не хочу.

— Да, пожалуй, отвѣчала я: — мнѣ все равно... только кого-же мы будемъ обожать?

— Видишь, я ужъ много объ этомъ думала, серьезно продолжала Шурочка: — Можно обожать людей съ воли: — это не весело: ихъ не часто видишь и съ ними нельзя ни говорить, ни гулять. Потомъ—учителей:—ну, что мнѣ за радость, что я буду себя ладонями бить въ грудь и кричать учителю: „чудный!“ какъ это, говорятъ, дѣлаютъ разныя дурн.... да я никого изъ учителей еще и не знаю. Классныхъ дамъ обожать—это ужъ лучше,—ну, только знаешь, Пана, онѣ все-таки начальство — съ ними ни поговорить, ни погулять... И потомъ, не Адамку-же и не Блюмку обожать?... А другія еще, пожалуй, хуже этихъ... Значить только и остались, что старшія.

— Какъ-же мы выбирать будемъ? Развѣ загадать? И вдругъ выберемъ, а она какая-нибудь злая или глупая.

— А у тебя самой глаза на что?—нетерпѣливо перебила меня Шурочка: И загадывать не надо. Видишь, нужно, чтобы она была и умная, и добрая, и хорошенькая... Я много объ этомъ думала и. по правдѣ тебѣ сказать, мнѣ очень одна старшая нравится...

— Кто? — съ любопытствомъ спросила я.

— Машенька Орлова! Ахъ, Паня, она такая славная! Знаешь — послѣдній разъ какъ няня приходила ко мнѣ, мы были рядомъ съ Машенькой Орловой въ пріемномъ залѣ — къ ней пришелъ ея братъ студентъ... И знаешь, они оба добрые — и Машенька и онъ... Ты видѣла мою няничку, старенькая она, сморщенная, вѣчно въ старенькомъ платьицѣ... Папочка ей все даритъ новое, а она своимъ бѣднымъ роднымъ раздастъ, а сама все старое донашиваетъ... Вотъ стоимъ мы съ Машенькой у рѣшетки — братъ ея сидѣлъ въ первомъ ряду, прямо за рѣшеткой, а няничка во второмъ, за нимъ, — и нельзя ей меня поцѣловать и почти говорить нельзя — далеко она и не хорошо слышитъ... Вотъ она заплакала и говоритъ мнѣ: — „Ахъ ты моя пташечка, посадили тебя въ клетку, и нельзя мнѣ, старой, и поцѣловать-то тебя!“ — Тутъ сидѣла барыня одна — къ Ильиной пріѣхала, кажется ея тетя, тоже съ хвостомъ, — она и заворчала, что „людямъ“ позволяютъ сидѣть рядомъ съ благородными дамами! Да развѣ няничка могла-бы стоять такъ долго, цѣлый часъ! Она старенькая, она и папочку вынянчила... Когда она у насъ дома чай разливаетъ, самъ папочка велитъ ей сидѣть — только при гостяхъ она не сидитъ, потому что сама не хочетъ... Вотъ какъ заворчала эта дама, — Машенька вдругъ красная такая стала и что-то брату потихоньку говорить, а тотъ сейчасъ всталъ и пустилъ няню впередъ ко мнѣ, и Машенька сказала: „сядьте, няня, поближе — мы ужъ наговорились — теперь ваша очередь“. И такое у ней доброе лицо было... Няня сейчасъ и пересѣла и говоритъ Машенькѣ: — „Ахъ, милая барышня, дай вамъ Богъ счастья, что вы такъ меня порадовали, — и вамъ, милый баринъ...“ А Машенька и ея братъ оба сейчасъ и сказали сразу: „Спасибо вамъ, няня“. А барыня рядомъ взяла и фыркнула, а я взяла и ей чуточку языкъ показала, а няню стала такъ цѣловать, что она захохала, будто я ее задушить хочу, — а Машенька и ея братъ засмѣялись... Потомъ онъ ушелъ, и Машенька ушла, а няня сказала: — „Вотъ и видно, что настоящіе господа, — не боятся, что ихъ стануть не за господъ почитать, если они и съ нашимъ братомъ по-божески обойдутся...“ — Такъ вотъ видишь, Паня, это было въ прошлое воскресенье — я тебѣ ничего не сказала, потому что все думала, думала, какъ-бы намъ съ Машенькой подружиться, хоть она и старшая... Вотъ теперь я и придумала, что если мы ее будемъ обожать, то часто будемъ и гу-

лять и говорить съ ней... А она въ самомъ дѣлѣ чудесная!“ — восторженно заключила Шурочка.

Я молча выслушала своего друга и пригорюнилась: меня взяла ревность, — теперь Шурочка не меня больше всѣхъ любить, а какую-то Машеньку Орлову, — и я даже и не знаю, какая она.

— Вотъ ужъ ты и надулась, Паня, сказала Шурочка: знаю вѣдь: ты боишься, что я тебя перестану любить... развѣ ты не понимаешь, что я тебя люблю такъ, а Машеньку иначе — и тебя крѣпко, и ее крѣпко... только мы съ тобой дружны, а ее будемъ обожать... Неужели ты не понимаешь?

— Нѣтъ, угрюмо отвѣтила я.

— Ну, стой, не сердись. Хочешь пойдемъ на сторону старшихъ и я тебѣ Машеньку покажу, и ты сама скажешь, нужно-ли ее обожать, или нѣтъ... Если ты скажешь: нѣтъ, — то такъ по твоему пусть и будетъ.

Эти слова Шурочки нѣсколько утѣшили меня, и я согласилась пойти съ нею на сторону старшихъ. Тамъ воспитанницы чинно гуляли попарно или втроемъ, вполголоса разговаривая другъ съ другомъ; тамъ не слышалось такого шума и говора, какъ у насъ — бѣготни тоже не было; инныя, сидя на скамейкахъ, что нибудь читали. Шурочка указала мнѣ на одну изъ читающихъ дѣвушекъ.

— Вонъ Машенька, — шепнула она мнѣ; смотри какая она славная!

Я уже видѣла эту дѣвушку раньше и обратила на нее вниманіе, вслѣдствіе какого-то странно грустнаго впечатлѣнія, производимаго ею на меня. У ней было русское, продолговато-круглое, чистое, но блѣдное личико; волосы ея были бѣлокурые — не золотистые и не пепельные, а отѣнка, напоминавшая бѣлые волосы маленькихъ деревенскихъ ребятишекъ, что заставляло особенно рѣзко выдѣляться ея черные глаза и черныя, какъ смоль брови, тянувшіяся отлогой дугой и почти сливавшіяся другъ съ другомъ. Я всего одинъ только разъ и встрѣчала подобное лицо: красивымъ его нельзя было назвать, хотя отчетливныя черты его не были ни крупны — ни рѣзки. Можетъ быть эти черныя сливавшіяся брови придавали полу-дѣтскому еще и нѣжному личику дѣвушки, не дѣтски серіозное и даже суровое выраженіе, когда оно не улыбалось, — а улыбалось оно рѣдко. Лицо Машеньки никогда не бывало ни надутое, ни скучающее,

ни недовольное, а только строгое и сурово пытливое; оно точно говорило, что умъ ея бодрствуетъ, подиѣчается, работаетъ,—стараясь по мѣрѣ неокрѣвшихъ еще силъ своихъ разрѣшать загадки, предлагаемыя ему жизнью. За то какими блескомъ молодого веселья освѣщалось это личико при улыбкѣ — сколько доброты и ласки было въ ней.

Мы раза два прошли по аллеѣ недалеко отъ Машеньки.

— Слушай! — шепнула мнѣ Шурочка: „когда она перестанетъ читать и встанетъ съ мѣста, мы подойдемъ къ ней и скажемъ, что выбрали ее и будемъ обожать. Хочешь?“

— Да неужели же, Шурочка, такъ прямо?

— А то какъ же? Рѣшились, такъ чего откладывать!

Рѣшимость Шурочки начинала передаваться и мнѣ, — особенно когда я увидала, что Машенька Орлова именно та старшая, которую я уже невольно раньше замѣтила и о которой иногда думала. Въ это время Машенька закрыла книгу, медленно встала, точно долгое сидѣнье утомило ее, и нѣсколько нагнувъ голову тихо пошла вдоль аллеи — она видимо еще находилась подъ обаяніемъ читаннаго, и не замѣчала насъ, стоявшихъ тутъ же.

— Ну, теперь! — шепнула, сжавъ мою руку Шурочка: „Машенька!“

Дѣвушка вздрогнула и быстро повернулась къ намъ: „что?“

Я пряталась сзади Шурочки, которая храбро выступала впередъ, и волнуясь и краснѣя начала:

— Машенька, вотъ я и птица, т. е. мой другъ Пани Медвѣдева, хотимъ васъ обожать и пришли сказать вамъ; если вы хотите, чтобы мы васъ обожали, то мы будемъ, а если нѣтъ...

— Ахъ, это вы, милая дѣвочка!.. тутъ Машенька по своему свѣтло улыбнулась. „Что это, неужели и вы такимъ вздоромъ занимаетесь?“

— Вздоромъ? — Шурочка вспыхнула; конечно я сама знаю, что это все глупости, когда за обожательницей бѣгаешь и кричишь ей: чудная, и бьешь себя въ грудь — только я этого дѣлать и не подумаю!.. А я васъ люблю и хочу съ вами гулять и быть въ свободное время... можно... И Паниа хочетъ, и она васъ тоже будетъ любить — потому что вы хорошая, и вашъ братъ тоже. Такъ и няня говорить, а она ужъ какъ скажетъ, — такъ и есть, — ее даже паночка всегда слушаетъ... Только вотъ разъ и не послушался, когда меня сюда отвезъ, — ну, да это изъ за тети Сони...

Машенька продолжала улыбаться.

— Такъ какъ же, Машенька, можно васъ обожать?

— Если вы хотите гулять и разговаривать со мной... отчего же... пожалуй! А какая у васъ славная няня, — у меня тоже была няня — старушка... теперь она умерла. — я ее очень любила...

— Ахъ, и я мою тоже люблю! — перебила Шурочка — и пошелъ теплый рассказъ о нянѣ.

Мы втроемъ стали ходить по аллеѣ. Шурочка тараторила безъ умолку; Машенька слушала и смѣялась весело, совсѣмъ по дѣтски; мнѣ она начинала очень нравиться. Наконецъ Шурочка утомилась и замолчала, — тогда Машенька обратилась ко мнѣ и начала разспрашивать меня о моемъ прежнемъ житьѣ-бытьѣ. Я не стѣняясь говорила обо всемъ прошломъ, чувствуя, что не одно простое любопытство заставляетъ дѣвушку интересоваться моими радостями и горестями.

Послѣ этого мы часто гуляли вмѣстѣ; иногда мы разговаривали, иногда что нибудь читали, — братъ Машеньки, къ которому сестра чувствовала какую то восторженно горячую привязанность, приносилъ ей книги; большую часть ихъ она намъ однако не давала, говоря, что мы еще малы и не поймемъ ихъ, — съ нами она подѣлилась только Куперомъ и Вальтеръ-Скотомъ, общая со временемъ давать и другія книги.

Знакомство наше съ Машенькой Орловой внесло точно живую струю въ нашу жизнь. Подруги наши не обратили на это особеннаго вниманія и только отмѣтили, что Подбѣльская и Медвѣдева обожаютъ Орлову. Классныя дамы не обратили рѣшительно никакого вниманія.

VIII.

Вскорѣ окончились каникулы и начались уроки. Учиться мнѣ было легко, тѣмъ болѣе, что почти все, что намъ преподавали въ первый годъ, я уже проходила съ учителями медвѣдевскихъ дѣтей. Что касается Шурочки, то дѣло было иначе. Все понятное ей она усваивала быстро; но бѣда была съ тѣмъ, что нужно было взять на вѣру и запомнить. Тутъ мой маленькій другъ оказывался совсѣмъ плохъ: „Не понимаю, и знать не хочу!“ — упрямо твердила она: „хоть мнѣ тамъ десять полей ставьте!“ По ариметикѣ она была у насъ первая для рѣшенія задачъ,

хотя ни одного правила не знала сказать наизусть учителю. Мы начинали учиться и древней исторіи и географіи. Относительно исторіи съ Шурочкой сначала тоже была бѣда: — „какое мнѣ дѣло до всѣхъ этихъ финикійцъ и египтянъ!“ — твердила она: „мнѣ они совсѣмъ не нужны — зачѣмъ я стану объ нихъ учиться? Они всѣ давно померли, и города ихъ развалились, и давно никто по ихнему не говоритъ“... Географія ей нравилась: „Вотъ этому“, говорила она: „стоитъ учиться — вѣдь это и теперь такъ“. — О началахъ грамматики она и слышать не хотѣла: — Какія то все глупости! рѣшила она и долго не справилась ни съ существительнымъ, ни съ прилагательнымъ; такъ бы она и не поняла въ чемъ дѣло, да и вообще не стала бы учиться, если бы ее не уговорила Машенька, помогавшая ей и объяснявшая непонятныя вещи. Современемъ, и мало по малу, Шурочка стала готовить свои уроки безъ споровъ и разсужденій, т. е. такъ, какъ дѣлали это всѣ. Несмотря на то, что Шурочка не любила не только ученія, но и начальства, и вообще всего, что ее стѣсняло, и вѣчно „разсуждала“ — въ ней было столько простодушія и незлобivosti, что начальство, не допускавшее ни въ комъ ни протестовъ, ни разсужденій, какъ то особенно мягко и снисходительно относилось къ ея вѣнышкамъ, даже Адамсъ питала какую то слабость къ ней за ея „gentillesse“, какъ она выражалась.

Можетъ быть причиною такого мягкаго отношенія къ моему другу было также и то, что отецъ ея, очень богатый и любимый въ городскомъ обществѣ полковой командиръ и вѣстный помѣщикъ, ничего не жалѣлъ для того, чтобы расположить кого слѣдовало въ пользу дочери. Къ шаман присылались ворохи цвѣтовъ; M-elles Адамсъ и Розенблюмъ получали огромныя корзины деревенскихъ произведеній — въ видѣ масла, вареній, моченій и т. п., и чуть не пуды конфетъ, — и все это предлагалось такъ любезно, что совсѣмъ не имѣло вида взятки. Сама Шурочка никогда не притрогивалась къ казенному кушанью, а питалась вещами, которыя ей присылались изъ дому, щедро дѣлясь не только со мной, но и съ остальными подругами, чѣмъ пріобрѣла громадное вліяніе и авторитетъ въ классѣ: — она была у насъ, что называлось въ заведеніи, — „царькомъ“. При дурныхъ задаткахъ она могла бы совершенно изгадиться; у ней же было такое золотое сердечко, что ничто, кажется, не было въ состояніи испортить ее. Отецъ сначала вѣдиль къ ней чуть не каж-

дый день; потомъ прїѣзды его стали рѣже, — кажется начальница замѣтила ему, что это отвлекаетъ дѣвочку отъ ученія. Иногда Шурочка тащила меня въ прїемную къ отцу; мнѣ очень нравилось его добродушное веселое лицо, а потомъ, когда онъ, разспросивъ меня, какъ звали моего отца, сообщилъ мнѣ, что они были товарищами по корпусу, то я стала смотрѣть на полковника Подбѣльскаго, какъ на почему то близкаго мнѣ человека и радоваться его прїѣздамъ. Прїѣзжали къ Шурочкѣ еще и ея тети „съ хвостами“, но съ ними я не знакомилась; за то няню ея я очень полюбила да и не я одна, а всѣ. Эта старушка какими то таинственными путями познакомилась съ нашей спальной горничной Аннушкой и послѣ этого стала приходить уже къ намъ въ спальню, гдѣ могла видѣть свою „пташечку“ не за рѣшеткой и цѣловать ее вволю.

Что касается Машеньки Орловой, то родныхъ у нея въ городѣ кромѣ брата студента, не было. Съ нимъ ни Шурочка, ни я познакомиться не могли — мы видѣли его только мелькомъ изъ за рѣшетки. Онъ былъ очень похожъ на сестру чертами и выраженіемъ лица, но волосы его были гораздо темнѣе. Братъ и сестра всегда горячо и живо говорили другъ съ другомъ и словно одинъ на другаго насмотрѣться не могли.

„Насъ всего только двое и есть“, говорила намъ Машенька: „онъ такой хорошій, и умный, и добрый, — только онъ тоже умѣетъ ненавидѣть — и ненавидѣть все злое и подлое. Онъ сочинитель: онъ и теперь уже въ журналахъ пишетъ и живетъ этими уроками... у насъ ничего нѣтъ, кромѣ маленькаго домика здѣсь въ городѣ“.

И Шурочка, и я мы очень гордились тѣмъ, что братъ Машеньки „сочинитель“, — но гордились въ тихомолку, потому что она взяла съ насъ слово не болтать объ этомъ, говоря, что у него есть враги, котораго могутъ надѣлать ему много зла, если узнаютъ, что это именно онъ пишетъ въ петербургскихъ газетахъ про нашъ городъ.

Передъ Рождествомъ у насъ сдѣлали первую „пересядку“ — т. е. составили списокъ всѣхъ ученицъ по поведенію, прилежанію и успѣхамъ. Первою оказалась Ильина. Первою она такъ до конца нашего курса и осталась. Она была любимицей Адамсъ, вела себя отлично, трудилась повидимому неимоверно и уроки

всегда знала отъ слова до слова; въ классѣ однако ее не любили — звали „подлизой“ и „фальшивкой“. За нею слѣдовала нѣкая Попова, о которой я только потому и упоминаю, что она, не стѣсняясь, выражала мнѣніе, что ее не смѣютъ не поставить въ началѣ списка, такъ какъ ея папа очень богатъ и вліятеленъ — и была правда. Большинство воспитанницъ училось добропорядочно, наизусть и почти одинаково — положеніе ихъ въ спискѣ опредѣлялось, — какъ теперь, такъ и тогда, — не столько успѣхами, сколько хорошимъ поведеніемъ. Не могу не сказать нѣсколькихъ словъ о нашей послѣдней ученицѣ — бѣднягѣ Шапкиной, несчастномъ и забитомъ существѣ, настоящей паріи класса. Признаться, мало симпатична была она съ своимъ сѣрымъ, некрасивымъ лицомъ, вѣчно трепанными пыльными волосами и грязными безпорядочно надѣтыми передникомъ и перелинкою. Она была дочь бѣдной вдовы, чиновницы, и попала въ институтъ, благодаря тому, что отецъ ея служилъ когда-то въ вѣдомствѣ заведенія. Мать Шапкиной приходила къ ней каждое воскресенье — это была тихая, грязно одѣтая старушка. Разъ кто-то спросилъ Шапкину, что это за старуха къ ней ходитъ? — „Нянька“, отвѣчала она краснѣя. Надъ неряшливой и бѣдно одѣтой нянькой ниня посмѣивались — Шапкина вторила имъ. Вдругъ откуда-то прошелъ слухъ, что это не нянька Шапкиной, а мать; это произвело глубокое потрясеніе во всемъ классѣ. Возмутились даже тѣ, которыя можетъ быть сами поступили бы какъ Шапкина и подъ боязнью насмѣшекъ надъ матерью отреклись бы отъ нея. Первая напала на Шапкину Шурочка — она чуть не плача твердила: „еслибы мой папочка пришелъ ко мнѣ въ рогожки — я не постыдилась бы его... Ты, Шапкина, подлая и хриstopродавка!“ За Шапкиной такъ и осталось имя хриstopродавки. Сначала она оправдывалась, бранилась, — потомъ горько расплакалась, говоря: „сами вы виноваты: вы все смѣетесь надъ бѣдными — по неволѣ испугаетесь и соврешь!“ — „А ты не пугайся и не ври! Не смѣй отъ матери отказываться, подлая!“ — костила ее Шурочка.

Потомъ, мало-по-малу, Шапкина склонила голову подъ презрѣніемъ подругъ и даже стала заискивать расположенія ихъ самымъ жалкимъ образомъ: ломалась, плакалась, сплетничала... Безжалостная Шурочка не переставала преслѣдовать ее, не смотря на то, что Машенька стыдила ее; я тоже чувствовала глубокое презрѣніе къ Шапкиной, хотя настолько смѣшанное съ жалостью,

что оставляла ее въ покоѣ. По занятіямъ Шапкина была въ младшемъ классѣ послѣдней;—потомъ она стала учиться лучше и даже пріобрѣла расположеніе Адамсъ, наущивая на другихъ. Въ послѣдствіи она осталась при заведеніи классною дамою.

Меня теперь нисколько не удивляетъ поведеніе Шапкиной, а поражаетъ то, что институтки были въ состояніи понять трусливую низость ея поступка. У насъ бѣдность презиралась, надъ нею смѣялись, ее преслѣдовали, — хвастались богатствомъ, святыми, положеніемъ родныхъ; слово „нищій“, и въ особенности — „нищій мужикъ“, были словами бранными. Я однажды высказала моему другу удивленіе по поводу того, что почему это вездѣ бѣдныхъ мужиковъ бранятъ, а я въ нихъ ничего дурнаго не вижу и напротивъ, думаю, что они добрые.

— Конечно добрые! отвѣчала Шурочка: солдаты всѣ изъ мужиковъ, а они добрые—значитъ и мужики добрые.

— Отчего - же ихъ у Медвѣдевыхъ звали пьяницами и негодяями?—Я на Шурочку смотрѣла, какъ на своего рода авторитетъ — такъ твердо и увѣренно произносила она свои сужденія.

— Пьяницами звали?—повторила она: Да, конечно они бывають пьяные—только, я думаю, это съ горя!

— Какъ, съ какого горя?

— Видишь-ли, я не знаю какое у нихъ горе, — только разъ я видѣла пьянаго солдатика и онъ говорилъ моей нянѣ (когда она его постыдила), — что это съ горя. Должно быть есть у нихъ такое горе, котораго мы не знаемъ.

— И потомъ, Шурочка, говорятъ, что всѣ они грубые и гадкими словами ругаются...

— А Адамка, развѣ гадкими словами не ругается? Да еще и *вотъ какими*: сокровищница всѣхъ золъ, нравственный уродъ! А я даже вотъ и не понимаю, что это значитъ, должно быть, что нибудь ужъ очень гадкое! А всѣ наши: чортъ, дура, проклятая!.. И того еще хуже говорятъ...

И дѣйствительно, здѣсь въ заведеніи, такъ-же какъ и въ домѣ Медвѣдевыхъ, младшее поколѣніе, за глазами старшихъ, было не тѣмъ, чѣмъ при нихъ. И здѣсь насъ тщательно охраняли отъ „вульгарности“ и при всемъ томъ далеко не изыщны бывали мы, не только въ минуты злобы, но и въ радости. Вообще „казаться“ и „быть“ было для насъ вещами прямо противоположными. Въ основаніи чувствъ, рѣчи, выраженія лица, всего

поведенія была ложь и притворство, притворство и ложь. Шурочка была однимъ изъ рѣдкихъ исключеній въ своей правдивости, когда въ минуту досады однажды крикнула Адамсъ въ лицо названіе: „чертовой перечницы“, за что и была строго наказана, несмотря на всю свою *gentillesse*.

Прибавлю, что этотъ „пассажъ“ сильно увеличилъ безъ того не малую популярность Шурочки между подругами, — впрочемъ не за правдивость, а за новое бранное слово тотчасъ пріобрѣтшее право гражданства.

Случилось это по слѣдующему поводу: Адамсъ застала Шурочку въ саду, представляющую изъ себя полковаго командира, а насъ, выстроенныхъ въ двѣ шеренги и учащихъ маршировать. Положимъ, мы и сами въ этой игрѣ не находили особеннаго удовольствія, но до слезъ хохотали, глядя на Шурочку, которая, верхомъ на длинной сухой вѣткѣ, оживленно командовала нами, скача взадъ и впередъ вдоль фронта, никакъ не хотѣвшаго понимать военной дисциплины. Адамсъ, учившая насъ хорошимъ манерамъ, ужаснулась, видя это, и выбрала моего друга, какъ зачинщицу, довольно неласково. Шурочка обидѣлась и заворчала, что скажетъ папочкѣ. Адамсъ фыркнула, она была не въ духѣ — и замѣтила, что пока не состоитъ подъ командой полковника Подбѣльскаго, который хорошо бы сдѣлалъ, если бы лучше воспиталъ свою дочь. Надо было видѣть, какъ вспыхнула дѣвочка, заступааясь за своего папочку, — какъ злобно обозвала она Адамсъ „чертовой перечницей“, и какъ плакала, рассказывая о своей обидѣ нашей „обожательницѣ“.

На Шурочку вообще временами находила особенная потребность шалить и „дурѣть“, какъ выражалась Адамсъ. Иногда эти шалости были вполнѣ ребяческія, иногда въ нихъ можно было, говоря опять языкомъ Адамсъ, подмѣтить: „злокозненность и нравственное уродство“, — особенно тамъ, гдѣ шалость совершалась по подговору и общими силами. Живую дѣвочку начинала гнестить мертвящая обстановка заведенія. „Злокозненныя“ шалости ея начались около конца перваго года пребыванія ея тамъ, когда и дружба со мною и обожаніе Машеньки потеряли первую прелесть новизны. Въ это время и отецъ Шурочки сталъ ѣздить къ ней рѣже, и няня, по болѣзни, не была около двухъ мѣсяцевъ, а ѣздили только тети „съ хвостами“. Къ этому же времени первыя трудности занятій исчезли, и Шурочка втянулась въ колею невозмутимаго заповианія уроковъ по за-

казу, безъ протеста, но и безъ какого бы то ни было интереса. Если бы она могла бѣгать и гулять хоть иногда вволю, то это быть можетъ и успокоило бы ее, но нѣтъ, день за днемъ приходилось слышать все одно и тоже: „tenez vous droite, baissez les yeux, taisez vous“! Даже въ рекреационное время бѣгать и смѣяться можно было только за „petits jeux de société“, которыя всѣмъ намъ были глубоко ненавистны и которыя мы, за спиною классныхъ дамъ, тотчасъ замѣняли всѣмъ, чѣмъ только могли. Еслибы въ день моего поступленія въ институтъ я знала, что веселый смѣхъ и говоръ, слышанные мною, были на половину поддѣльны—можетъ быть я далеко съ большимъ страхомъ вошла бы подъ этотъ кровъ съ пеликанами.

Замѣчая все большую злокозненность въ Шурочкѣ, Адамсъ стала съ нею суше и строже—это въ свою очередь подлило масла въ огонь и Шурочка начала просто становиться настоящей „мовешкой“. ¹

Одна изъ ея первыхъ шалостей, вызвавшихъ строгія репрессаліи, заключалось въ томъ, что во время нѣмецкаго урока, который она очень не долюбливала, она занялась наведеніемъ „зайчиковъ“ обломкомъ зеркала на лысину нѣмецкаго учителя Herr Blume. Зайчики не сразу попадали въ дѣль, а бѣгали по лицу учителя и иногда молніей сверкали въ очкахъ его. Сначала онъ шурился, гримасничалъ, снималъ очки, вытиралъ ихъ,—но наконецъ догадался въ чемъ дѣло, сразу успокоился и добродушно проворчавъ: „Kleiner Schelm“! погрозилъ пальцемъ Шурочкѣ, которая отъ всего сердца смѣялась. Это было подмѣчено Адамсъ: она оставила Шурочку на цѣлую недѣлю безъ передника,—но та не унялась и продолжала постоянно придумывать что нибудь новое—„еще веселѣе“.—Двѣ изъ шалостей ея такъ и остались въ лѣтописяхъ заведенія: во первыхъ—она съѣла пробную порцію,—во вторыхъ—прозвонила въ электрическій звонокъ.

Но я должна объяснить что такое пробная порція и электрическій звонокъ. И то и другое представляютъ привѣры наивной, пріобрѣтшей полное право гражданства, жи, вѣвшей въ русскую жизнь во всѣхъ ея видахъ и формахъ.—Въ высшихъ сферахъ предполагалось, что насъ кормятъ очень хорошо; для того, чтобы высшее начальство, пріѣзжавшее иногда не ожи-

¹ Отъ слова: mauvais.

данно, могло убѣдиться въ доброкачественности нашей пищи, экономъ ежедневно присылалъ за обѣдомъ и завтракомъ такъ называемую пробную порцію, которая и стояла на столѣ старшаго отдѣленія въ ожиданіи, пока ее унесутъ нетронутою—высшее начальство пріѣзжало не часто. Наше-же непосредственное начальство, конечно, очень хорошо знало, что эта порція такъ-же мало похожа на нашу настоящую пищу, какъ мало походили выходящіе въ отставку гладко-кожіе и розовые экономы съ брюшкомъ, одѣтые въ тонкое и дорогое сукно, на тѣхъ замороженныхъ и общипанныхъ искателей теплаго мѣстечка, которые вновь поступали въ экономическую должность. Экономъ, покидавшій заведеніе въ мое время, уѣзжалъ въ изящной каретѣ. Чада и домочадцы его помѣщались въ коляскѣ, а небель и добро выѣзжали на восемнадцати фурахъ... и это не гипербола, а просто правда, какъ и то, что въ нашемъ заведеніи за его бытность умерло однажды въ теченіе сутокъ около пятнадцати человѣкъ, а переболѣло въ десять разъ болѣе, вслѣдствіе отравленія гнилою колбасой. Дѣло было по обыкновенію замято—смертность свалили на холеру.

При видѣ подобнаго преусушѣнія экономовъ, слухи о чемъ не могли не проникать и выше, дѣлались всякія попытки поймать вора, но это къ несчастью было не легко: у насъ существовалъ электрическій звонокъ. Какъ только что-либо подозрительное показывалось еще издали въ аллеѣ, ведущей къ нашему заведенію, швейцаръ или дежурный служитель прижимали известную пуговку въ стѣнѣ швейцарской и тотчасъ поднимался неистовый трезвонъ: весь домъ приходилъ въ движеніе, точь въ точь какъ въ сказкѣ въ проснувшемся заколдованномъ замкѣ, на который институтъ и во многихъ другихъ отношеніяхъ былъ похожъ. И вотъ повара начинали стучать и рубить на пропалую, въ супъ валили цѣлые пуды мяснаго экстракта,—черствый, никуда негодный хлѣбъ запрятывался куда-нибудь и оставался на завтра, замѣняясь на сегодня свѣжимъ,—горькое масло уступало мѣсто хорошему и картофель поливался имъ, а не водой,—вмѣсто гречневой каши на третье блюдо являлись какіе-нибудь блинчики съ вареньемъ,—чай не пахнулъ вѣникомъ и на днѣ молочниковъ не осѣдала густымъ слоемъ грязная известь. Случилось однажды, что высшее начальство, заподозривъ что-то неладное, направилось въ заведеніе не съ параднаго, а съ чернаго хода—и электрическій звонокъ промолчалъ объ этомъ. У

дверей столовой его —ство увидѣло дѣвушку съ суповой мискою въ рукахъ.

— Стой! — крикнуло оно, останавливая ее: „что здѣсь такое? Супъ? Ложку — Начальство зачерпываетъ ею какую-то мутную жижицу, беретъ въ ротъ, съ гримасой отвращенія выплевываетъ и сердито восклицаетъ:

— Да это помон!

— Точно такъ-съ, ваше —ство! — подтвердилъ очутившійся тутъ-же экономъ. И начальство увѣрили, что это былъ не супъ, а помон. Тоже, что они были въ мискѣ, объяснили „злосознностью“ воспитанницъ, которыя по душевной испорченности „пакостятъ“ все, чего не доѣдаютъ. Мы въ самомъ дѣлѣ все, что не доѣдали, сливали и сваливали вмѣстѣ, прибавляя туда воды, квасу и соли съ тою цѣлью, чтобы намъ не подавали на завтра остатковъ отъ вчерашняго дня. Но въ тотъ разъ служанка несла настоящій супъ, а не „мѣсиво“, какъ-то увѣрялъ экономъ. Вообще находчивость этого человѣка была поистинѣ изумительна. Въ другой разъ тоже недоувѣрчивое начальство открыло въ поданной къ столу булкѣ „пруссакъ.“ — Это что такое? — грозно спросило оно. — Изюмина-съ! съ неопущеннымъ взоромъ отвѣтилъ явившійся какъ листъ передъ травой экономъ и, не долго думая, разжевалъ а проглотилъ „сorris delicti.“

Но электрическій звонокъ приводилъ въ лихорадочное движеніе не одну кухню — спальни тоже оживлялись: на кровати надѣвались чистые, блестящіе бѣлизною чехлы, — а на насъ не менѣе чистые передники, рукава и пелеринки.

И вотъ, распалившаяся Шурочка рѣшила съѣсть знаменитую пробную порцію, чтобы узнать, въ самомъ-ли дѣлѣ начальству подаютъ тоже, что намъ? оказалось, что совсѣмъ не то: — пробная порція ничѣмъ не напоминала той полу-гнилой дряни, которою насъ кормили. Никакихъ вредныхъ для эконома послѣдствій изъ этого не вышло: никто въ этотъ день не прѣзжалъ и никто ничего не собирался пробовать; за то нравственные послѣдствія для насъ были неисчислимы, — разговорамъ о Шурочкиной храбрости конца не было, а главное разсужденія о томъ, почему пробная порція хороша, когда она должна представлять образчикъ нашей нигуда негодной пищи?... И кто воръ и кто укрыватель?

Болтая о случившемся, мы какъ-то не остереглись, и Адамъ насъ подкараулила какъ разъ въ ту минуту, когда Шурочка

представляла, какъ она ловко подкралась къ старшему столу и утѣла превкусный бифштексъ съ стружками свѣжаго хрѣна и золотистымъ, поджареннымъ на сливочнымъ маслѣ картофелемъ, — и какъ старшія хохотали и закрывали ее отъ глазъ классныхъ дамъ. Для бѣднаго моего друга исторія кончилась тѣмъ, что съ нея опять на цѣлую недѣлю сняли передникъ — одно изъ самыхъ позорныхъ наказаній, только одною степенью ниже стоянія посреди столовой во время обѣда.

Но Шурочку усмирить было трудно: наказаніе, которому она подверглась, только озлило ее, и она рѣшила отомстить, да такъ, чтобы всему заведенію сразу, и не нашла ничего лучшаго, какъ святотатственно прозвонить электрическимъ звонкомъ. По обычаю вышелъ переполохъ, окончившійся строжайшимъ слѣдствіемъ. Шурочка ничего не боялась и ничего не ожидала, зная, что никто изъ подругъ ея не выдастъ, къ несчастью свидѣтельницей ея недозволеннаго присутствія въ швейцарской была проходившая тамъ въ это время старая „сортирка“ Арина. Она донесла о томъ, какъ „барышня Подбѣльская стрѣлянула“ мимо нея на лѣстницу, и какъ она сейчасъ-же поняла, какъ и что...

Чего-чего только не продѣлали тогда надъ Шурочкой: она и посреди столовой стояла разъ пять, и безъ передника оставалась цѣлый мѣсяцъ — и не была высѣчена и исключена только потому, что это была она, а не кто другой. Случился это съ кѣмъ другимъ, — и несчастная была-бы не только позорно наказана, но и со стыдомъ выгнана изъ заведенія. Шурочку спасло богатство и связи ея отца.

Мы все сообщая потомъ стыдили Арину и допытывались, какая была ей нужда доносить?

— Какая нужда? — отвѣчала она: — Не доносить была нужда, а отъ нужды бѣдности доносила! Вы что-жъ, барышни, думаете великая мнѣ корысть отъ того, что я энти разныя мѣста прибираю? — Идетъ мнѣ за это рубль въ мѣсяцъ да обѣдъ, да ужинъ. А жить-то гдѣ живу? Вѣдь срамъ сказать: тутъ-же, въ отхожемъ мѣстѣ! И дѣйствительно, Арина жила тутъ-же, даже не отдѣленная перегородкой отъ тѣхъ мѣстъ, которыя чистила. Въ углу, противоположномъ имъ, стояли ея кровать, сундукъ, столъ и табуретъ.

— Гляди, и Бога примостить некуда!.. Неужели я тутъ, въ поганомъ мѣстѣ, образъ святой повѣшу?.. Тутъ и спишь, тутъ и обѣдаешь... Да это-бы все еще ничего, а вотъ образъ-то... А каково человѣку безъ Бога?.. Всю-то я ноченку иной разъ ма-

юсь: ну, какъ что нечистое причудится, а я и сказать не могу: наше мѣсто свято! Вотъ какъ слышу я, что начальство такую горячку поретъ—кто да кто звонилъ? я и думаю: дай откроюсь про барышню—увидать, что и я за дѣвицами наблюденіе имѣю,—авось меня за послугу въ спальня переведутъ:—хоть жить то буду съ образомъ... Ну и жалованье имъ все-же получше и награды... А намъ всѣхъ-то наградныхъ за чистоту вышло къ Пасхѣ по ситцевому платю — и что-жъ вы думаете? Алена, вонъ, отошла на той недѣлѣ, такъ у ней платъ-то назадъ въ казну отобрали!—Вотъ оно житье-то наше!

Аринѣ ея доносъ не былъ прощенъ нами, несмотря на ея бѣдность, сѣдня вѣчно трепанныя косы, множество мелкихъ морщинъ на худомъ и блѣдномъ лицѣ и сгорбленный трудомъ и старостью станъ. Между тѣмъ одно воспоминаніе обо всемъ этомъ вызываетъ во мнѣ теперь глубокую щемлящую сердце жалость. Кто-то, на этотъ разъ это была не Шурочка, сыгралъ надъ ней злую шутку: ее какъ-то выманили изъ ея вертепа — кажется послали въ лавочку за съѣстнымъ (нашъ хроническій голодъ не позволялъ намъ гнущаться припасами, приносимыми даже ея руками, вѣчно занятыми очисткою „мѣсть“) и когда она ушла — цѣлымъ пучкомъ фосфорическихъ свичекъ былъ начертанъ на стѣнѣ страшный свѣтящійся чортъ, а ночникъ затушенъ. Старуха, войдя, такъ и присѣла при видѣ огненного нечистаго и, не смотря ни на какіе уговоры остальной прислуги, въ тотъ-же вечеръ вымолила у своего непосредственнаго начальства, чтобы ее отпустили въ „отставку.“

Не однихъ „сортирокъ“ посылали мы въ лавочку. Въ этомъ отношеніи главныя услуги оказывались намъ корридорными солдатами. Черезъ нихъ мы получали ситный хлѣбъ, полугнилую колбасу съ чеснокомъ, патоку съ остатками труновъ утонувшихъ въ ней насѣкомыхъ, налитую въ „турлички“ изъ грязной сахарной бумаги, соленые огурцы, селедки, капусту и всякую подобную дрянь, которая приносилась потихоньку въ карманахъ, за пазухой и даже за голенищами солдатскихъ сапогъ — такъ какъ все было строго воспрещено. За все это посланцамъ платилось въ три дорога, все страшно портило здоровье, но, какъ-бы то ни было, набивало хоть чѣмъ нибудь наши пустые желудки.

IX.

Исторія съ электрическимъ звонкомъ и пробною порціею имѣла извѣстную связь и еще съ одною исторіею, которая оставила въ мнѣ болѣе тяжелое воспоминаніе, чѣмъ всѣ непріятности, послѣдовавшія за названными шалостями. Но для того, чтобы эта новая исторія и ея вліяніе на меня и на большинство моихъ подругъ стали вполне понятными, я должна на минуту вернуться къ тому, что воспитатели наши стремились „насадить“ въ умъ и сердца каждой изъ насъ. Обыденныя поученія намъ заключались не въ томъ, что мы „должны“ дѣлать, а въ перечисленіи того, чего мы „не должны смѣть дѣлать!“ Иногда, конечно, этотъ отрицательный способъ развитія нашихъ нравственныхъ задатковъ переходилъ и въ положительный — именно: намъ отдавался тотъ или другой приказъ, мотивируемый словами: „je vous l'ordonne!“ Только начальница по временамъ старалась чему-то научить насъ, что-то разъяснить намъ, но я уже говорила къ чему сводились ея поученія. Одна изъ нашихъ классныхъ дамъ, Катерина Федоровна Тардѣева, замѣнившая впоследствии M-elle Розенблюмъ, представляла единственное исключеніе въ этомъ отношеніи. О ней, впрочемъ я еще буду говорить ниже.

Запреты и приказанія нашего начальства, повидимому, всегда вытекали изъ числа внѣшнихъ причинъ — какъ, наприимѣръ, благоустройство и спокойствіе заведенія, и тому подобное. Что касается насъ, то мы какъ будто и въ счетъ не шли — существовало заведеніе, и въ немъ и для него, какъ одна изъ составляющихъ его частей — мы. О внутренней нашей жизни, объ одушевленности насъ, воспитанницъ, не только рѣчи, но какъ будто и помысла небыло. Я помню, какъ глубоко я удивилась, когда Машенька разъ высказала при мнѣ, что заведеніе существуетъ для насъ, а не мы для него — такое мнѣніе зазвучало для меня даже святотатствомъ. Вообще пробужденіемъ своимъ къ болѣе или менѣе сознательному и глубоко-враждебному отношенію къ дурнымъ сторонамъ окружающаго я была обязана Машенькѣ. До знакомства съ нею я признавала, что все такъ и должно быть, какъ оно есть — потому, что оно такъ есть. Впрочемъ, по правдѣ говоря, я вовсе ни о чемъ подобномъ и не думала, но во всякомъ случаѣ у меня не шевелилось ни малѣйшаго протеста про-

тивъ чего бы то ни было, а если и бывали столкновения съ начальствомъ, то это случилось вслѣдствіе моихъ собственныхъ шалостей, за которыя мнѣ самой становилось совѣстно, когда я приходила въ равновѣсіе. Машенька не такъ относилась къ окружающей насъ средѣ: она пылливо вглядывалась во все, разбирала причины и послѣдствія того или другаго явленія и постоянно дѣлилась своими мыслями съ нами и главное съ братомъ своимъ. Она рассказывала ему и о текущихъ событіяхъ за нашими китайскими стѣнами. Разказала она ему и о пробной порціи и электрическомъ звонкѣ. Студентъ по этому поводу написалъ ѣдкій, юмористическій фельетонъ въ мѣстной газетѣ — и произвелъ переполохъ въ институтѣ. Невозможно описать гнѣва и негодованія, охватившихъ у насъ всѣхъ власть имѣющихъ: насъ поодиночкѣ положительно исповѣдывали, желали добиться; кто говоритъ роднымъ о злополучныхъ происшествіяхъ. Ужасъ обуялъ насъ; намъ казалось, что въ сердцахъ нашихъ читаютъ, каждая боялась кому-то, въ чемъ то, проговориться. Наступили, какъ мы говорили, времена „инквизиціи“. Со всего института сняли передники, старшій классъ на недѣлю лишили гулянья и третьяго блюда. Ничего не помогло — никто не проговаривался. Подсылали и въ редакцію газеты, но тамъ прямо отказались назвать автора статьи. Начать судебное дѣло было невозможно — фельетонъ былъ написанъ остроумно и зло, но самому происшествію въ немъ было отведено очень мало мѣста. Разбиралась, главнымъ образомъ, извращенность и гнилость существующей системы воспитанія. Придаться къ чему нибудь, начать процессъ о диффамациі не было дано предлога, такъ какъ ни одна личность не была затронута и заведеніе названо не было. И такъ оставалось одно — домашними средствами открыть и наказать виновную, вынесшую соръ изъ избы — и, узнавъ по ней автора, по возможности насолить подъ рукою и ему. Тѣ изъ подругъ Машеньки, которыя знали въ чемъ дѣло, уговаривали ее молчать; она согласилась на это, въ виду того, что боялась за брата, зная, что ему не сдобровать, если сильные міра сего захотятъ его раздавить. А что ему достанется, если узнаютъ, что онъ авторъ статьи, въ этомъ мы всѣ были глубоко увѣрены.

Какъ начальство, наконецъ, дозналось того, что ему хотѣлось знать, осталось для насъ тайной, — но дѣло въ томъ, что въ одинъ прекрасный день насъ всѣхъ, пятьсотъ воспитанницъ.

собрали въ залу, посреди которой мы съ удивленіемъ увидѣли никогда не стоявшую тамъ въ обыкновенное время кафедру. Насъ разставили кругомъ попарно. Мы не понимали въ чемъ дѣло, и съ любопытствомъ осматривались, шепчась другъ съ другомъ. Вдругъ въ одномъ изъ старшихъ отдѣленій произошло смятеніе, и одна изъ классныхъ дамъ вытащила оттуда, блѣдную, какъ смерть, Машеньку, подвела ее къ кафедрѣ, заставила взойти на нее и подала ей въ руки газету. Тогда начальница, бывшая тутъ-же, сказала намъ короткую рѣчь о нашей испорченности и неблагодарности и, обращаясь къ Машенькѣ, прибавила: „Теперь вы, которая смѣялись надъ нами потихоньку, прочтите всѣмъ въ слухъ, что тутъ написано — *et que cela serve à votre confusion!*“

Я тихо плакала, — Шурочка, стоявшая подлѣ меня, судорожно щипала меня за руку и твердила: „Ахъ подлая, подлая!“

Машенька сначала геройски попробовала читать, но не выдержала и залилась слезами.

— Пусть это служить вамъ всѣмъ примѣромъ! напутствовала насъ, при выходѣ нашемъ изъ залы, Софья Ивановна, не сознавая ни жестокости, ни глупости происходившаго.

Машеньку исключили изъ института за дурную нравственность. Брату ея тоже не посчастливилось: такъ или иначе, но его заставили выйти изъ университета. Онъ съ сестрой уѣхалъ въ Петербургъ, и оба стали тамъ оканчивать свое образованіе. Но обо всемъ этомъ мы узнали только позже.

Насъ съ Шурочкой не допустили проститься съ Машенькой; мы было убѣжали потихоньку и даже въ швейцарскую выскочили, но только для того, чтобы увидѣть, какъ за нашей милочкой и ея братомъ захлопнулась выходная дверь. Весь этотъ вечеръ Шурочка горько плакала; плакала и я, хотя далеко не такъ горько, какъ она: я очень любила Машеньку, но уже столько испытала горя въ жизни, что разлука эта менѣе печалила меня, нежели выдавшую болѣе меня радостей Шурочку. Мы долго ничего не слыхали объ Орловыхъ и думали, что они мирно живутъ въ своемъ домикѣ и что, такъ или иначе, мы получимъ какую-нибудь вѣсточку отъ Машеньки, хотя рѣшительно не знали, какъ. Мы дѣйствительно мѣсяца черезъ три получили письмо отъ нея, — прислано оно было изъ Петербурга на имя Шурочкиной няни. Писать на институтъ Машенька не

хотѣла: наши письма всё читались начальствомъ и, если въ нихъ было что-нибудь не нравившееся ему, уничтожались безъ нашего вѣдома и намъ даже не упоминали о нихъ.

— Принесла я тебѣ дорогой гостинецъ, моя пташечка, сказала няня, доставая изъ кармана письмо:—вотъ вѣсточка отъ милой барышни; и мнѣ было письмо хорошее: — „Милая няня, такъ и такъ—передайте эту записку дорогой Шурѣ“—и такъ все тамъ хорошо и ласково... И за что только такую барышню такъ разобидѣли?... Ужъ это Господь судья имъ!... Няня знала всю исторію Машеньки и глубоко сочувствовала ей и намъ.

Шурочка почти вырвала письмо у няни, дрожащими руками начала разворачивать его и вдругъ залилась слезами.

— На, Паня, читай ты, а я—я не могу!... Ахъ, милочка, ахъ, милочка!... Да скорѣе!... Какая ты несносная...

Вотъ что писала Машенька:

Дорогія мои Шурочка и Паня,—вы вѣрно думаете, что я забыла васъ, потому что долго не писала—да что-же было дѣлать? На институтъ писать не стоило, а какъ иначе сдѣлать, я не знала. Наконецъ братъ придумалъ написать на имя няни, но пока узнали точный адресъ, время и прошло. Мы теперь въ Петербургѣ—братъ перешелъ въ университетъ: ему въ N житья не было—все изъ-за этой статьи; пусть Богъ судить ту фискалку, которая сдѣлала всѣмъ намъ такое зло, а я ей простила—я такъ счастлива здѣсь съ братомъ... Мы живемъ вмѣстѣ у старой доброй родственницы: братъ ходитъ въ университетъ и на уроки, а я въ гимназію. Скучновато мнѣ безъ васъ по времени, мои милыя, и еслибы не это, то я была-бы вполне счастлива. Старая тетя, у которой мы живемъ, очень добрая: она сама небогата, но братъ насилу уговорилъ ее брать у него деньги на наши расходы; она даже балуетъ насъ и говоритъ, что сама помолодѣла съ нами. Иногда къ брату приходятъ товарищи, иногда приходятъ и мои подруги; мы разговариваемъ и читаемъ вмѣстѣ, а иногда просто веселимся: поемъ, или танцуемъ, или въ фанты играемъ—только это рѣдко, и больше, когда ужъ тетя заставитъ, или если есть кто-нибудь изъ ея знакомыхъ. Я еще два года буду въ гимназін. Тутъ учатъ лучше, чѣмъ въ институтѣ, и учителя все толкуютъ лучше, и я еще охотнѣе учусь, чѣмъ прежде, и все только удивляюсь—сколько и сколько еще надо учиться, чтобы знать и понимать, что дѣлается на свѣтѣ.

Только что это я все о себѣ? Милые друзья мои, какъ-бы

я хотѣла быть съ вами вмѣстѣ — я васъ обѣихъ вѣдь очень люблю! Даже готова-бы кажется была вернуться въ институтъ, чтобы постоянно видѣть васъ... Нѣтъ, это я неправду говорю — въ институтъ я не хочу, тамъ все ложь, обманъ, все одна только казовая сторона, — а что подъ нею, стыдно сказать и гадко подумать.

Пишите мнѣ, дорогія мои, и я буду писать вамъ черезъ добрую няню.

Тутъ-же находилась записка къ одной изъ любимыхъ подружекъ Машеньки.

Шурочка не дала мнѣ отвѣчать на это письмо, а писала сама за насъ обѣихъ. Письмо ея начиналось словами:

— Чудная, безцѣнная, дорогая, милая!.. И все оно было диамантомъ, гдѣ выливалось горячее обожаніе. Въ одномъ мѣстѣ говорилось: „Мы недавно учились про Зоира: какъ онъ себя обрѣзалъ носъ и уши... и я бы это сдѣлала для васъ, еслибы нужно было! Я бы дала себя и голову отрубить за васъ, еслибы я могла только этимъ для васъ что нибудь хорошее сдѣлать. И какъ я ненавижу всѣхъ вашихъ друзей, съ которыми вамъ весело!.. Ахъ, я знаю, что я гадкая, скверная: если вамъ весело я бы должна радоваться, — и Паня вамъ такъ говорить, а я плачу, плачу и утѣшиться не могу, что вы безъ меня счастливы!“

Я стояла надъ Шурочкой, когда она писала это, и усовѣщивала ее.

Письмо отослала няня и потомъ приносила намъ и еще письма и уносила наши.

Шурочка скучала: она не шалила больше, худѣла и блѣднѣла. Она радовалась только приходамъ отца и упрашивала его взять ее домой, говоря, что она очень, очень несчастна. Я не знаю рѣшился ли бы онъ взять ее и тѣмъ идти противъ воли свѣтски-мудрой тети Сони, еслибы въ это время полкъ его не былъ переведенъ въ другой городъ. Услыхавъ о томъ, что отецъ уѣдетъ, Шурочка совсѣмъ было слегла и только тогда ожила, когда онъ обѣщалъ взять ее съ собою, что вскорѣ и сдѣлалъ. Я такъ привыкла къ ней, что жизнь показалась мнѣ не жизнью безъ нея. Наканунѣ ея отъѣзда мы долго разговаривали, обѣщали писать другъ другу и вѣчно другъ друга любить.

— Ты очень рада ѣхать домой? спрашивала я.

— Еще бы! отвѣчала Шурочка: только знаешь, лучше бы они вовсе не отдавали меня сюда. Пока я была дома, для меня все какъ будто только солнышко свѣтило, и я не знала ничего нехорошаго—скучнаго... А теперь, теперь я уже столько нехорошаго знаю: знаю, какъ бываетъ скучно безъ папочки и няни,—знаю, какъ тяжело, когда ненавидишь кого нибудь, а я всѣхъ ихъ ненавижу,—всѣхъ, кто обидѣлъ Машеньку,—знаю, какъ тяжело, когда уѣзжаетъ далеко тотъ, кого любишь и обожаешь, какъ я люблю Машеньку... А теперь еще и тебя, Паня, не буду видѣть...

Она крѣпко обняла меня. „Вотъ солнышко мое и не все свѣтитъ, а точно тучами его закрываетъ... Ахъ, Паня, тяжело! Вотъ, какъ плачу—только и легче“.

Далеко за полночь говорили мы. На другое утро Шурочку увезли, и я осталась одна совершенно. И отъ Машеньки я не могла получать больше вѣстей, потому что съ отъѣздомъ Подбѣльскихъ исчезала и возможность переписки съ ней черезъ няню.

Шурочка писала мнѣ всего одинъ разъ, и то я письма ея не получила. Какъ ни общалась она быть осторожной въ письмахъ, однако въ первомъ же высказала свою ненависть „къ нимъ, ко всѣмъ“, т. е. къ институту. Письмо, по обычаю, было прочитано классною дамою: она нашла его нецензурнымъ и уничтожила; я бы даже и о существованіи его не узнала, если бы Адамсъ въ минуту досады не упрекнула меня тѣмъ, что: „Вотъ какіе разговоры и о чемъ у васъ бывали съ Подбѣльской“. Она же сообщила мнѣ, что писала полковнику о прекращеніи переписки Шурочки со мной. Что еще было въ этомъ письмѣ — не знаю, но отъ Шурочки я больше писемъ не получала.

Вскорѣ послѣ отъѣзда Шурочки изъ института мы перешли въ старшій классъ. Переходные экзамены и вообще большее оживленіе нашего мірка въ это время, помогли мнѣ перенести разлуку съ моимъ другомъ, но тѣмъ не менѣе, я сильно тосковала.

Только позже, черезъ нѣсколько лѣтъ, узнала я о печальной судьбѣ моей милой дѣвочки. Тетя Сня и послѣ отъѣзда Шурочки изъ заведенія не прекратила заботъ своихъ о ея воспитаніи. По ея настоянію полковникъ Подбѣльскій взялъ въ домъ гувернантку, и Шурочку принялись муштровать теперь на

заграничный ладъ. Густыя тучи совсѣмъ закрыли отъ нея солнышко. Она сначала горячо протестовала, гувернантки не уживались. Тогда тетя Сони для Шурочкиной пользы рѣшила женить ея отца—и женила. Мачиха была вторымъ изданіемъ тетки; онѣ вмѣстѣ увѣрили полковника, что изъ дѣвочки выйдетъ толкъ лишь при строгости. Строгости отъ отца Шурочка не ожидала: она рѣшила, что онъ разлюбилъ ее и захирѣла. Только няня до конца осталась съ нею та-же, и горько, горько было старухѣ провожать въ могилу свою бѣдную, вольную, замученную пташку.

А. Л.

(Окончаніе слѣдуетъ.)